ИСТОРИЧЕСКИЙ РАССКАЗ

ЛОПУХ

КНИГА ПЕРВАЯ. ГОРА ЗОЛЫ



Двоечник, который научил деревню чистоте

ЛОЗОВ СЕРГЕЙ

Сергей Лозов

Гора золы

«Автор»
2026

Лозов С. Ю.

Гора золы / С. Ю. Лозов — «Автор», 2026

«Меня зовут Гоша, мне пятнадцать лет, и я, короче, туповат». Двоечник Гоша попадает из нашего мира в Средневековье — в подмастерья к кузнецу Гуннару, живущему с Мальфридой и псом Кусакой. Здесь не ставят двоек, но за всякую ошибку платят жиром, салом и репутацией. Однажды Гоша задаёт главный двоечницкий вопрос — «почему» — и находит то, чего в этом мире нет: мыло. Зола за околицей, вода и жир — так рождается чистота, которой деревня не знала. Только у всякого дела здесь есть цена: соседки с глазами и памятью, трактирский сын, охочий до пропорции, овчар с бараньим салом, памятлив десятский — и городские хозяева жира, привыкшие покупать того, кто ещё не знает, сколько он стоит. Гоша не умеет думать по книжкам, зато считает шипение котла, пишет крестиками на дощечке и не умеет врать. Он научит деревню мыться, а деревня научит его: ум — не страница в дневнике, а ремесло, и куется он, как гвозди, — из одиннадцати годных два.

© Лозов С. Ю., 2026
© Автор, 2026

Сергей Лозов
гора золы

ЛОПУХ

Книга первая. Гора золы

Глава первая. Одиннадцать гвоздей и два гвоздя

Меня зовут Гоша, мне пятнадцать лет, и я, короче, туповат.

Нет, это не самокритика. Это констатация факта, как «вода мокрая». Меня зовут Гоша, мне пятнадцать, я двоечник, и здесь меня зовут «лопух». Сначала я думал, что лопух — это про растение. Потом Гуннар объяснил, что это про меня.

Я живу у кузнеца третий месяц. Точнее — не знаю, третий. Тут не считают дни так, как я привык. Тут считают по праздникам: «было до Михайлова дня», «было после», «было, когда корова Палашкинских отелилась». Я поначалу спрашивал, какое число, и на меня смотрели, как на дурачка. Потом перестал спрашивать. Числа тут никому не нужны, а корова Палашкинских нужна всем, потому что отелилась она криво, и об этом до сих пор говорят за столами.

Гуннар — кузнец. Он огромный, как шкаф, который зачем-то научился ходить. Борода у него такая, что я однажды нашёл в ней щепку. Не спрашивайте, зачем я лазил в его бороду. Надо было найти щепку. Нет, тоже не спрашивайте. Мы с Кусакой, его собакой, пришли к этому делу одновременно и оба не раскаялись.

Кусака — это пёс. Серый, лохматый, с одним ухом, которое всегда стоит, а другое всегда лежит. Гуннар говорит, что у Кусаки уши «в разной погоде». Кусака умнее половины деревни, и это не комплимент деревне, потому что Кусака хотя бы не притворяется.

Итак. Это утро. Про это утро у меня была одна задача — гвозди. Гуннар сказал с вечера: «Завтра гвозди. Сорок штук. Кои выйдут — те мои, кои не выйдут — те твоё наказание». Я тогда кивнул умно. Ночью не спал, потому что понял, что подписался на сорок замахов молотом, а у меня после первого месяца от молота руки как чужие — они вроде мои, но делают всё не то, что я хочу.

Утром я сел на завалинку и ждал завтрак. Завтрак — это, между нами, главное событие дня. Всё остальное — между завтраком и ужином, чтобы не думать о еде. Мальфрида, жена Гуннара, сказала: «Руки вымой — есть сядешь».

Проблема была в руках. Не в том, что они грязные — они всегда грязные, я кузнечный подмастерье, у меня сажа в таких местах, куда сажа вообще не должна дотягиваться. Проблема была в том, ГДЕ мыть. Мыть было надо в бочке. В бочке, в которой стирались, по моим подсчётам, девять поколений Гуннаровых родичей. Вода в этой бочке была не вода. Это была жидкость с историей. Я в неё тыкал руки так, как тыкают в чужую клетку с неизвестным зверем: быстро и с готовностью отдёрнуть.

И вот сижу, руки мочу, завтрака жду. Тут из кузницы грохот — Гуннар принялся за свою утреннюю возню с горном. И курица — соседская, наглая, жёлтая — прошла мимо меня на таком расстоянии, что я мог её взять.

Голодный человек с курицей рядом — это не философия. Это испытание.

Я за ней не полез. Запомните этот момент — это единственный героический поступок этой главы, дальше будет только падение. Я за курицей не полез, потому что Мальфрида однажды поймала меня с соседской курицей в руках — не воровал, честно, она сама на меня налетела — и полчаса объясняла мне, что за чужую курицу платят не деньгами, а лицом, и лицо у меня пока единственное, и терять его рано.

И вот я сижу на завалинке, руки мокрые, в бочке с историей, курица ушла с чувством выполненного долга. И меня осенило.

Нет, не сразу мыло. Сначала был вопрос. Вопрос «почему».

«Почему мои руки вообще грязные?»

Это, между нами, главный двоечницкий вопрос. Училка в школе орала: «Гоша, ПОЧЕМУ ты не сделал домашку?!» — и я никогда не знал. Вот и сейчас я не знал. Но вопрос задал, и он, как двоечницкие вопросы, оказался лучше всех умных вопросов: умные спрашивают «как», а двоечник спрашивает «почему», и на «почему» иногда отвечают, а на «как» — никогда.

Руки грязные от сажи. Сажа от угля. А если бы было что-то, что сажу берёт и снимает, как рубашку с меня? Я в моём мире такое видел. Мыло. Каждый день, по утрам, все тёрли себя этим куском, и никто не удивлялся.

Как его делают — не помню. Совсем. Тут у меня в голове было, как в дневнике после родительского собрания: пусто и нарисован самолётик.

Что помню? Помню, что оно пахнет — вот так пахнет, а как называется этот запах, не знаю. Помню, что бабушка им мыла мне рот, когда я врал, и это, между нами, лучшая реклама мыла в мире: если им можно мыть рот ребёнку, значит, не яд. Помню, что оно делается из чего-то жирного и чего-то едкого. Что такое «едкое» — не помню. Но помню слово «щёлок» — откуда помню, не спрашивайте, в школе по химии у меня была двойка, и это была моя лучшая двойка, потому что за ней стояла единственная строчка, которую я запомнил.

И вот сижу я с мокрыми руками над бочкой с историей и понимаю, что у меня в деревне есть всё. Зола — горы золы, её из печей выгребают и валят за околицу, и на этой золе зимой спит Кусака, потому что она тёплая. Жир — у Гуннара в кузнице бочонок говяжьего жира, он им что-то смазывает. Вода — вот она, бочка.

Жир плюс едкое — мыло. Гений, короче, я.

— ГУННАР! — заорал я от завалинки. — А если золу водой залить — она едкая станет?

Гуннар вылез из кузницы. Молота в руках не было — уже хорошо. Он посмотрел на меня долго. Так долго, что я успел подумать: «Сейчас начнётся». Что начнётся — я не знал. Но когда Гуннар долго смотрит, у всех начинается.

— Отмывай им клинки, — сказал он наконец. — Зола водой — щёлок. Старьё. Что за слово у тебя в голове — не знаю.

И ушёл в кузницу.

А я остался сидеть. И вот тут меня накрыло.

Я думал — я ИЗОБРЁЛ. Я, Гоша, двоечник, я придумал то, чего тут никто не знает! А выяснилось, что это знает каждая баба. Каждая! Про щёлок тут знает даже Кусака, потому что Кусака спит на золе, и золу ей, значит, топили, чтобы она щёлок в себе держала, или я путаю, но в любом случае — щёлок тут знают все, а я не знал даже этого. Я тут самый тупой. Это не самобичевание, это статистика: за месяц я не выучил, где в кузнице углы. Углы! У комнаты их четыре, я проверял.

Но обидно — это одно, а мыло — другое. Стирать в бочке с историей я больше не хотел. Вообще никогда, до самой смерти. Хотел мыло.

И тут я подумал мысль, которая потом ещё сто раз мне аукнется: «А если жир в щёлок сунуть?»

Завтрак я пропустил. Это важно для дальнейшего: всё, что я сделал в этот день, я сделал на голодный желудок, а я на голодный желудок тупею. Я и так не блистал, а тут вообще.

Гуннар дал мне жир. Ведро. Больше половины зимнего запаса. Молча.

Я тогда не понял, почему молча. Я был занят другим — я тащил ведро в котёл и чувствовал себя человеком, которому доверили корону. Дал бы мне кто-нибудь тогда в ухо — я бы его, наверное, не заметил.

Жир я растопил в котле. Это, к слову, единственное, что я сделал правильно: растопить жир — не думая, руками, как это делает каждый, кто хоть раз видел жареное. Дальше пошло по накатанной.

Я влил щёлок. Как смешивает двоечник: на глаз, от души, «и так сойдёт». Сколько щёлока? Не знаю. Сколько жира? Не знаю. Помешал палкой. Понюхал.

Понюхал и понял, что где-то крупно просчитался.

Смесь зашипела. Не как каша шипит — как злая. Как будто я её лично оскорбил, а она за это мне расскажет. Она дышала мне в лицо каким-то кислым дыханием и поднималась в котле, как тесто, только тесто — доброе, а это — злодейское. Я отступил на шаг. Потом ещё на шаг. Котёл от меня ещё не отставал, но уже не догонял.

И тут капля. Одна капля. На запястье. Как слюна, крошечная.

Секунду ничего. Я даже успел подумать: «Пронесло».

А потом — КАК БОЛЬНО.

Я не буду врать. Я заорал. Не так, как герои в книжках, — «а-а-ах, — сказал он, сдерживаясь», — а так, как орут двоечники, то есть по-настоящему, на весь двор, с лёгким отчаянием и отдалённым «мамой». Кусака сбежала. Кусака, между нами, видела, как Гуннар голыми руками выправляет раскалённую подкову, и её было сложно удивить. Я её удивил. Это, наверное, достижение.

Я бегал по двору с рукой, как будто рука у меня отдельная живая тварь, которую я догоняю, чтобы извиниться. Потом Мальфрида вышла из дома — с половником, она всегда с половником, я подозреваю, что он ей не для готовки, а для понта, — посмотрела на котёл, на меня, на мою руку, которую я к этому моменту лизал. Да, лизал. Не смейтесь. Я не знал, что делать, а во рту было глупее, чем было, но зато хоть что-то было.

— Лопух, — сказала Мальфрида. — Руки в воду. В первую воду. Не в котёл же, дурачина, — в воду.

Я сунул. Стало легче. Стало — не идеал, но легче. Я стоял с рукой в ведре, и это было самое честное, что со мной случилось за месяц: боль ушла, и на её месте остался стыд. Стыд — это, между нами, боль, которая не проходит, а оседает.

И вот тут — тут, между нами, начинается самое важное — Мальфрида НЕ ВЫЛИЛА котёл.

Я ждал. Я ЖДАЛ, что она выльет. Что меня выпорют. Что Гуннар выйдет и скажет что-нибудь такое, что я не забуду до старости. Я уже стоял по стойке смирно, рука в ведре, и готовился к худшему.

Мальфрида подошла к котлу. Посмотрела на мою злодейскую смесь, как смотрят на чужого ребёнка: с интересом и прикидкой, живой ли. Потом взяла со стола ложку. Свою. Утреннюю. На которой сало жил, по-моему, с незапамятных времён, и оно, это сало, собиралось там жить дальше, до самой её смерти.

Окунула в мою смесь. Вытащила. Провела пальцем по пятну.

Сало сошло. До конца. Я впервые в жизни увидел эту ложку целиком, и это была не ложка — это была белая звезда, это была ложка-мечта, это была ложка, за которую в моём мире дают премию.

Мальфрида смотрела на неё так, как я в моём мире не смотрел ни на одну девчонку. Она смотрела так, как будто ложка ей лично пообещала в жёны. Тридцать лет! Тридцать лет она драила эти ложки песком, и я это знаю, потому что руки у неё всегда были в ссадинах от песка, а я думал, что она грубая в хозяйстве. А решение лежало за околицей, в горе, где спал Кусака. Бесплатно. Я, дурак, это выдумал случайно, потому что мне было лень мыть руки.

— Это, — сказала она, — что ж это такое.

— Это мыло, — сказал я. — Наверное. Если я не всё испортил. Половину я не помню.

Голос у меня дрожал. Но не от страха. Я так никогда ещё не говорил, честно.

— Половину не помнишь, а ложку отмыл, — сказала Мальфрида. — Слышь, лопух. С твоей половиной-то знания, да с моими руками, да с Гуннаровым огнём... Вся округа за это сало удавится. Ты про деньги думал? Не думал. Думать не твоё. А попробовать — твоё.

Я думал, что она похвалила. Спросил. Она сказала, что нет, она описала меня. Хм. Долго я потом это переваривал.

Вечером пришёл Гуннар из кузницы, сел на скамью, вытянул ноги. Я сидел рядом и чувствовал себя так, как сидят рядом с молотом. Молот у него был на коленях. Он его не поднимал — просто держал. У Гуннара, между нами, молот — это не инструмент, это язык. Когда он держит молот на коленях — значит, разговор будет длинный.

— Завтра варим ещё раз, — сказал он. — Пропорцию поправлю — я глазом вижу, сколько сыпать. А ты, лопух, помни, что не видишь. Через месяц пойдёшь с Мальфридой на ярмарку. Продавать.

— А чё на ярмарке? — спросил я.

— А то, — сказал Гуннар. — Там ходят такие, у которых глаза не баронские. Хуже. Они глазами больше, чем барон стражей, видят. И если один такой спросит, откуда ты мыло выкопал, — не отвечай «с золы». Скажи «у деда выучился». Дед у тебя был кузнец. Теперь был.

Он ушёл в кузницу. Я остался.

И тогда — уже в темноте, уже с горящей рукой, уже с полкой на уме — я начал думать. Думал я плохо — всегда думал плохо, в этом смысле тут как дома. Но выходило из думанья странное.

Гуннар дал мне половину зимнего жира молча. Мой папа в моём мире давал мне деньги молча один раз — когда знал, что они мне на что-то НУЖНЫ. Знал заранее. Значит, Гуннар знал, что мне будет нужен жир, ещё до того, как я узнал. Значит, Гуннар ждал, что я что-то придумаю. Давно ждал.

А это, если подумать, страшновато. Я за три месяца нашёл тут одну ложку помытую. Что он ждал такого, чего я, по-его, найду потом?

Не знаю. Но спать в эту ночь я почти не боялся. Так, немножко. И то — потому что котёл под крыльцом тихонько остывал и пах. Пах, между нами, странно — не как кислота, как утром, а как-то по-другому. Почти как мыло.

Почти как мыло — если бы я умел ждать. Я не умел. Это выяснилось на следующее утро, и на этом месте у меня заканчивается эта глава, потому что то, что было дальше, я буду рассказывать уже с завтраком внутри меня. Завтрак, между нами, меняет голос.

Глава вторая. Пропорция

Я кончил первую главу тем, что котёл под крыльцом пах почти как мыло. Так вот, расскажу сразу: пах он как мыло, потому что был мылом. Просто об этом ещё никто не знал. Сюжет, между нами, устроен хитро: сначала всё случается, а потом рассказчик узнаёт, что случилось. Я вообще всю жизнь узнаю о своих делах последним.

Утро. Я проснулся от того, что Кусака дышала мне в лицо.

Это у неё привычка. Кусака считает, что спящий человек — это человек, который что-то скрывает, и её обязанность — это выяснить. Она садится рядом и дышит. Не рычит, не трогает — просто дышит. Тяжело, с прожаренным запахом. Просыпаешься — а над тобой одно ухо. Второе, по её системе, спит.

— Чего тебе, — сказал я.

Кусака села и посмотрела на меня. Потом на дверь. Потом на меня. Кусака, между нами, разговаривает глазами, и у неё словарный запас больше, чем у меня местами.

Я вышел во двор. И тут понял, что запах на дворе не такой, как всегда.

Обычно у нас во дворе пахло так: сало, дым, Кусака и чё-то ещё, что я уже не различал, потому что нюх к этому миру привыкает. А теперь пахло по-другому. Странно. Не кислым. Как будто кто-то во дворе помыл что-то большое.

Я подошёл к котлу. Посмотрел. В котле лежала твёрдая, серо-жёлтая, вся такая — как застывшая каша, только правильная. Я потыкал палкой. Палка ткнулась и не провалилась.

— ГУННАР! — заорал я. — ОНО ЗАСТЫЛО!

Гуннар вышел. Посмотрел в котёл. Потом на меня. Потом опять в котёл. И — я это запомню на всю жизнь, как я запомнил двойку за поведение в третьем классе, — он сделал пальцами то, что в моём мире делают, когда слышат хорошую новость, а в этом мире делают, когда хотят, чтобы за тебя помолились: сложил руки и поднял к небу.

— Лопух, — сказал он тихо. — Ты понимаешь, что ты сделал?

— Мыло? — сказал я неуверенно. — Я его не нарочно, если чё. Я вообще половину не помню.

— Оно НЕ подгорело, — сказал Гуннар. — Оно СВАРИЛОСЬ. За ночь, без присмотра, на моём огне, из моего жира, руками подмастерья, который вчера сжёг себе запястье. — Он так и продолжал держать руки к небу. — Ты это понимаешь? Ночью. Без присмотра. Котёл могло испортить, могло лопнуть, могло загореться. Ты оставил его НА УГЛЯХ?

Тут, между нами, я обязан сознаться. Я не оставлял его на углях. Я просто не знал, что угли нельзя оставлять. В моём мире плиту выключают кнопкой, а у нас, выходит, у котла кнопка — это совесть, а у меня с ней как раз слабовато.

— Я думал, оно само догорит, — сказал я честно.

Гуннар посмотрел на меня ещё секунду. Потом сказал:

— Курицу зарежь. Мальфриде скажи: за спасённый котёл.

Это была, если перевести с гуннаровского, самая большая похвала в его жизни. Я понял это вечером. Утром я просто пошёл искать курицу и понял, что я не знаю, как это делают — зарезать курицу. В моём мире курицы приходили из коробочек с грилем. Тут выяснилось, что у курицы есть шея, а у меня нет понятия.

Курицу зарезала Мальфрида. Я за ней ходил по двору и орал, что она бежит в неправильную сторону, но Мальфрида не орала — она просто поймала её за крыло и сделала всё. Как будто это вообще не событие. Как будто это у неё — таскание дров.

— Не смотри, — сказала она мне. — Завтра сама.

— Я не хочу сама, — сказал я честно.

— Будешь хотеть, когда жрать захочешь, — сказала Мальфрида. И это, между нами, была её сентенция, я её потом обдумывал два дня.

Каша, которая стала куском

После завтрака — а завтрак, я вам скажу, был богатый: каша, хлеб, и кусок жира отдельно, как орден — мы с Гуннаром вернулись к котлу.

Гуннар вынул из котла то, что сварилось. Разрезал ножом. Ломтики лежали на столе и были — куски. Просто куски. Я смотрел на них так, как двоечник смотрит на двойку, которую вывели в пятёрку: не верю, но красиво.

— Пробуй, — сказал Гуннар.

— А это точно можно? — спросил я. — А вдруг там ещё то, что жжётся?

— Это, — сказал Гуннар, — если бы жглось, Мальфрида не сварила бы на нём кашу, — он замолчал, — хотя стоп. Она и так кашу варит. Она бы сварила.

— В чём тогда проверка?

— В руках, — сказал Гуннар. — Помой руки.

Я помыл руки в бочке с историей. Потом взял кусок. Потёр. И — я не преувеличиваю — у меня на глазах появилась пена. Пена у меня была из моего мира: из ванны, из бутылки с оранжевой крышкой, из-под крана. Я думал, я её больше не увижу. Я стоял в чужом дворе, в чужом мире, в грязной рубахе, и у меня на руках была пена, и я почти плакал.

— Чего раскис? — спросил Гуннар.

— Пена, — сказал я. — В моём мире вся пена из бутылок. А это пена из золы. Из золы, Гуннар! Которой Кусака спит на!

— Ну, — сказал Гуннар, — и? Мне это что-то говорит? Про золу, про Кусаку?

— Это значит, — сказал я, и у меня голос задрожал, — это значит, что я умный! То есть нет. То есть я не умный. Я — тупой. Но я сделал умное. Можно и тупым сделать умное? Можно? Это работает?

Гуннар посмотрел на меня долгим взглядом. Потом сказал:

— Работает. Не празднуй. Пропорцию ещё не знаешь.

Вот здесь, между нами, начинается вторая половина главы, и я её расскажу как урок, который я получил. Хуже школьного урока, потому что школьный урок я сдавал один раз, а это сдавал весь день, и сдавал я его в присутствии женщины с половником.

Гуннар сказал: «Теперь пропорцию выучим». И мы начали учить.

Мы варили семь раз. СЕМЬ. Каждый раз — новый котёл, новый жир, новый щёлок, и каждый раз Гуннар менял пропорцию, и я записывал — да, у меня была дощечка и уголь, я записывал по-нашему, в уме, крестиками, потому что по-ихнему писать я не умел. Первый котёл — слишком много щёлока, мыло съело себе руку. Точнее — не съело, но сделало такую руку, что Мальфрида сказала: «Не суй в еду, станешь в деревне знаменитым, но не тем, чем хотел». Второй — слишком мало. Третий — нормальное по виду, а пахло носком, потому что я взял старый жир, который стоял с недели две. Четвёртый — я вообще не знаю, что я сделал, но оно получилось серым, как небо в ноябре, и Мальфрида сказала, что этим можно мазать забор, но не людей.

На пятом Гуннар сказал: «Стой».

— Что?

— Смотри на котёл. Не на меня — на котёл. Щёлок, когда жир в него входит, — шипит или не шипит? Сколько раз шипнул?

— Я не считал.

— Считать, лопух, — сказал Гуннар, — это то, что отличает кузнеца от палача. Палач тоже машет молотом. Считай.

Я считал. Шестой котёл я считал вслух, как считал в школе — воображая, что меня озвучивают, и это помогало, я не знаю почему. Шестой котёл стал правильный. Седьмой котёл я сварил сам, а Гуннар стоял за спиной и молчал. Это было страшнее, чем если бы он орал. Молчание у него — это как двойка в четверти: если молчит — значит, следит.

К вечеру у нас было одиннадцать кусков. Одиннадцать кусков мыла, вручную, в котле, в чужом мире. Я их сложил на полку — на ту самую, где стоял горшок с первой порцией. Гуннар, когда увидел, что я лезу на его полку, сказал только:

— Полку теперь делим.

Это тоже, между нами, была похвала. Я её не сразу понял, а когда понял — час держался, чтобы не улыбаться, потому что у кузнеца нельзя улыбаться без причины, это их расстраивает.

Соседки

А потом пришли соседки.

Это были, как я потом узнал, три бабки с края деревни: тётка Онуфриевна, тётка Палашка (та самая, у которой корова отелилась) и тётка Ненила, у которой, по слухам, не было ни мужа, ни хозяйства, но были глаза и память. Они пришли «попить чайку». С чаем они приходили в четвёртый раз за год. Кусака, когда увидела их, сделала вид, что спит, — Кусака понимала всё.

Сели. Попили чайку. Спросили про здоровье Гуннара. Спросили про здоровье Мальфриды. Спросили про здоровье меня — это было самое хитрое, потому что про здоровье меня никто никогда не спрашивал, и я растерялся, и, чтобы что-то сказать, сказал, что у меня рука заживает.

— Заживает? — сказала тётка Онуфриевна. — А от чего было?

— От варева, — сказал я. И это было правдой, но не так, как надо.

Три бабки переглянулись. Я в этот момент не понимал, что переглянулись они, как переглядываются заговорщики. Я вообще в этот момент думал про еду. Мальфрида поставила на

стол ещё хлеб и мёд, и я, между нами, забыл про заговор, про бабок и про всю сюжетную линию на десять минут. Двоечник есть двоечник.

А потом тётка Палашка сказала:

— Слыхали мы, кузнец. Что у тебя в доме моют без песка.

В кузнице стало тихо. Кусака перестала изображать сон. Я перестал жевать.

— Кто слыхал? — спросила Мальфрида очень ровно.

— Люди, — сказала тётка Палашка. — Люди говорят. Рука-то у мальчонки, видно, от песка не зажила. От варева зажила.

— От варева, — согласилась Мальфрида. — От ячневой каши. Каша ранит, коли горячо.

Тётка Палашка на «каша ранит» слегка села. Она явно готовила другой разговор. Я смотрел, как Мальфрида с бабками фехтовала, и мне было страшно и интересно одновременно — как в моём мире, когда старшие ругаются, а ты в углу, и вроде тебя нет, а всё на тебя заворачивается.

— Ну а всё же, — тётка Ненила, которая до этого молчала, поставила чашку. — Куда золу дели? За околицей-то гора не тает.

— Гора стоит, — сказала Мальфрида.

— Стоит, — согласилась тётка Ненила. — А пахнет от вашего двора не так, как от чужих.

Мальфрида положила на стол половник.

Не ударила. Просто положила. И у бабок, я вам скажу, сразу всё здоровье выправилось — все три стали припоминать, что им пора к Палашкинской корове, потому что корова, может, опять отелилась, а этого нельзя пропустить.

— Коровы, — сказала Мальфрида, — пока доятся. Приходите, когда перестанут.

Бабки ушли. Я смотрел им в спину и ждал, что Мальфрида начнёт объяснять. Она не объясняла. Она собрала чашки, помыла их — моим же мылом, я видел, — и сказала:

— Лопух. Ты почему бабкам руку показал?

— Я не показывал. Я сказал, что она заживает.

— Это и есть показал. Ты тут, — она ткнула половником в воздух, между мной и дорогой, — всё, что скажешь, будет к вечеру в каждом дворе. Скажешь «заживает» — к вечеру скажут «от варева». Скажут «от варева» — к вечеру придут три бабки. Я три года варила кашу без их любопытства. Смотри теперь.

— Я не хотел, — сказал я.

— Не хотел, а сделал, — сказала Мальфрида. — Это, лопух, не я тебя ругаю. Это я тебя знакомлю с собой. Ты себе такой.

И ушла в дом. А я остался на дворе с Кусакой.

Кусака подошла, села рядом, подняла на меня своё живое ухо и издала звук, который я не умею записать — что-то между «тфу» и вздохом пожилого учителя. Она смотрела на меня так, будто я ей не друг, а статья в уставе, которую она уже читала и в которой всё было предсказуемо.

— Чего, — сказал я ей.

Кусака вздохнула. По-настоящему вздохнула, собачьим телом, как будто вздыхать — её работа, и она её давно освоила.

— Сама ты, — сказал я.

Кусака легла на золу — на ту самую гору золы, из которой я делал щёлок, — и посмотрела в сторону дороги. Как будто говорила: «Не сама. А ты теперь у всех на виду, и это не я придумала».

Что выяснилось к ночи

Ночью, перед сном, я подошёл к Гуннару. Он был в кузнице, в своей обычной позе — сидел на лавке и смотрел в горн, в котором уже не было огня. Гуннар так смотрит, когда думает, и думать он умеет долго — я видел, как он полчаса смотрел на остывший горн, а потом встал и пошёл обедать, как будто всё решил.

— Гуннар, — сказал я.

— Ну.

— А бабки придут ещё?

— Придут.

— А что мы будем делать?

— Варить, — сказал Гуннар. — Бабки не затухают, если их не топить. А если топить каждый день — привадят всех, у кого глаза. А глаза в этой деревне есть не только у бабок.

— То есть прятаться?

— Не прятаться, — сказал Гуннар. — Не блистать. Это разные вещи. Прятаться — это когда боятся. Не блистать — это когда умеют ждать.

— А ты умеешь?

— Дед мой, — сказал Гуннар, — умел. Я его дело знаю.

И замолчал. Я ждал, что он скажет «мой дед тоже помнил то, чего не учили» — как будто эти слова у меня в голове были уже наготове, как будто я их слышал. Он их не сказал. Он просто встал и закрыл кузницу на щеколду, и это тоже было слово, только без звука.

Я пошёл в дом. Мальфрида уже лежала, но не спала — я слышал по дыханию, что не спит. И я, между нами, тоже долго не спал. Я лежал и думал:

Первое: у нас теперь есть мыло, и его одиннадцать кусков, и они стоят на полке Гуннара, и это самая дорогая полка, которую я знаю.

Второе: бабки придут ещё, и за ними придут другие, и Мальфрида это знает, и Гуннар это знает, и они знают, что я этого не знаю.

Третье: Гуннар сказал «мой дед умел» и не сказал, ЧЕМУ умел. А я запомнил этот кусок фразы и буду носить его в голове, как носят занозу.

И четвёртое, о котором я, если честно, думал дольше всего: запах. От двора пахнет не так, как от чужих. Это я слышал утром и не подумал. А бабки подумали. А тётка Ненила, у которой не было ни мужа, ни хозяйства, но были глаза и память, — она подумала первой.

Значит, чтобы варить мыло дальше, надо научиться варить его так, чтобы не пахло.

А я не знаю, как это делают. Я даже не знаю, возможно ли это. Но я, лёжа в темноте, во дворе чужого мира, с рукой, которая почти зажила, вдруг подумал: а вдруг, если сделать наоборот — если я не буду вспоминать, КАК в моём мире пахло мыло, — а просто возьму и спрошу у Гуннара: «А чем тут пахнет, когда моют по-хорошему?»

И уснул с этим вопросом. Он был маленький. Он был по-двоечницки неправильный. И потому, наверное, был единственный рабочий.

Завтра — семь котлов. Завтра — бабки. Завтра — Кусака и её ухо.

Не знаю, чего я боюсь больше. Но я, между нами, сегодня впервые за три месяца уснул не с мыслью «хочу домой», а с мыслью «завтра варить».

Это, я потом пойму, было опаснее всего.

Глава третья. Жир

Теперь я знаю, что в кузнице никогда не бывает «всё готово». Бывает «всё готово, кроме одной вещи», и эта вещь всегда — то, без чего всё остальное мусор.

Мыло у нас было. Одиннадцать кусков и горшок. Пропорция была — выученная, крещиками на дощечке, которую я прятал за стропило, потому что Мальфрида велела прятать. Руки были — у меня почти чистые. Пена была. Всё было.

Не было жира.

Это выяснилось не драматично. Никаких трубных гласов. Гуннар просто открыл бочонок, посмотрел внутрь, постучал по нему костяшками — бочонок отозвался пустым, как отзывается всё в этом мире, когда кончается, — и сказал:

— Лопух. Колодец ты наш сухой. Жир кончился.

— А, — сказал я.

— «А», — повторил Гуннар. — Ты слышишь, что я сказал?

— Жир кончился, — сказал я. И потом, потому что в голове было пусто, добавил: — Так купим ещё.

Гуннар посмотрел на меня. Я уже умею распознавать его взгляды: есть взгляд «ты туп», есть взгляд «ты туп, но по-новому, это интересно», и есть взгляд, которого я пока не знаю, но он страшный. Это был третий.

— Купим, — повторил он. — Купим. Скажи, лопух, а в твоём доме, когда кончается молоко, — молока же у вас много, я видел, — что вы делаете?

— Идём в магазин и... — начал я и осёкся, потому что слово «магазин» тут не работало, а объяснять, что такое магазин, я не умел даже по-нашему, а по-своему нельзя.

— В магазин, — закончил за меня Гуннар. — А здесь, лопух, у кузнеца есть магазин. Он называется «деревня». И в этом магазине, — он постучал по пустому бочонку ещё раз, — жир не продаётся. Жир у деревни есть ЗАДАКОМ.

Тут надо объяснить, что такое задок, потому что я тоже не понял сразу, а потом понял — и мне стало не по себе.

Задок — это когда баба режет свинью, и жир, который срезается с нутряного сала, она не ест сама. Она его копит. Копит месяц, копит к покрову, копит к Рождеству. И когда копит — она знает, на что. На сапоги мужу. На масло к масленице. На леченье зубов, потому что зубы тут лечат жиром и молитвой, и молитва дешевле, но она не всегда помогает. Жир тут — это деньги, только текущие, и поэтому жир не покупают. Жир выменивают. А выменивают — из своих запасов. И отдать задок чужому — это как отдать чужому свои сапоги и ходить зиму босым, ссылаясь на то, что так модно.

— И сколько надо? — спросил я.

— На твои одиннадцать кусков я отдал запас на месяц, — сказал Гуннар. — Мальфрида уже посчитала, чего нам теперь не будет к праздникам. Масла. Светца топлёного. И недостижимо, я так скажу, — сала на блины к масленице. Мы твоё мыло, лопух, съели. Ушами. С хлебом.

Я сидел и понимал, что устроил в чужом доме самый честный коммунизм: отобрал у семьи зимний жир и превратил его в белые куски, которые стоят на полке и никого не моют, потому что продавать их ещё рано, а пользоваться самим — жалко, они же теперь товар.

Торг

Пошли торговать. Все вместе: я, Гуннар и Мальфрида. Кусака тоже пошла, а за нами на расстоянии, на котором ходят «просто так», шла тётка Ненила. И это уже говорило о многом: Кусака раньше по деревне ходила только за вором.

Первым был двор Палашкинских. Тот самый, с коровой, которая отелилась криво и с тех пор держала деревню в курсе.

Тётку Палашку мы застали во дворе. Она увидела нас — троих — и сразу сделала лицо, как делают люди, когда к ним идут просить, а они заранее решили не давать.

— Кузнец, — сказала она, не дожидаясь, — ежели по жир — не проси. Свинки моей нету нынче. Резать нечего.

— Про свинью и речи, — сказал Гуннар мирно. — Про другое.

— Про что?

— Про то, — сказал Гуннар, — что у тебя, Палашка, лоханки за зиму такими стали, что я, когда мимо иду, — закрываю ноздрю. А ведь я кузнец. Я к воням привычен. У меня горн дымит.

Это было, между нами, гениально. Я бы до такого не дошёл — я бы начал с мыла, с цены, с выгоды, как в моём мире учат рекламщики. А Гуннар начал с лоханок. Грязных лоханок. И я потом понял, что это был единственный ход: не проси у бабы жир — покажи бабе её собственный позор.

— Лоханки, — сказала Палашка недоверчиво.

— Лоханки, — подтвердил Гуннар. — И мужнины рубахи. И собственные руки твои, Палашка, — песок ты драишь, а песок, он как я: тёрт, да не берёт.

Палашка посмотрела на свои руки. Я тоже посмотрел — руки у неё были, честно, в постоянной ссадине.

— И чего?

— А того, — сказал Гуннар, — что есть вода, что моет без песка. Есть у нас такое. И надо на это дело жир. Нутряной твой задок. За задок — кусок тому, кто даст. Кусок — на всю зиму хватит, я не шучу, я кузнец, а кузнец, Палашка, врать не умеет: у него рука дрожит.

Палашка молчала. Потом сказала — тихо, так, что даже я понял, что это серьёзно:

— Кузнец. А это не от нечистого?

И вот тут, между нами, я впервые услышал, как звучит Гуннар, когда речь идёт о его ремесле. Он не пошутил. Он не отмахнулся. Он наклонился — гора наклонилась к Палашке, как будто у неё что-то болело — и сказал:

— Палашка. Я кую железо сорок лет. Молот мой — от Бога, потому что рука моя — от Бога. И щёлок — от золы, а зола — от очага, а очаг — от Бога. То, что моет, — от Бога. От нечистого только то, что порочит. А моё мыло, Палашка, не порочит никого, кроме грязи.

Палашка вздохнула. Как вздыхает баба, когда её загнали туда, куда она сама хотела, но откуда ей теперь не выйти, не потеряв лицо.

— Задок, — сказала она, — у меня на Рождество копится. Как зарежу — придёт. А кусок?

— Кусок первым, — сказал Гуннар. — И имя твоё на нём не будет, но в деревне все узнают, чей был задок.

Я не понял, что он сказал. Палашка поняла: она покраснела. Это была, между нами, тонкая работа: Гуннар обещал ей не анонимность, а наоборот — глухую молву, что у Палашкиной свиньи был самый жирный задок. Я потом долго думал, как это он так сразу понял, чего бабе хочется, — и понял: он не понял. Он просто тридцать лет живёт рядом и знает, что бабе хочется, чтобы про её свинью говорили.

От Палашкиной пошли дальше. К обеду у нас было три обещания задка — на Рождество, на Покров и «как Палашкина корова опять отелится, тогда и посмотрим» — и одна прямая беда: мы несли в деревне слово «мыло», и слово это уже к обеду звучало в каждом дворе посвоему. В одном дворе оно было «пена», в другом — «варево», в третьем — «то, чем Гуннарова Мальфрида отмывает грехи». Я слушал, как деревня пересказывает моё изобретение, и чувствовал себя автором народной песни, которую поют с другой мелодией.

Бараний носок

А потом случилась ошибка, и ошибка была моя, и про неё я расскажу честно, как двоечник, — потому что врать я не умею, а Гуннар, как выяснилось, не может из-за руки.

Дело было так. Мы шли от последнего двора, где обещали задок «после отёла», и Гуннар сказал:

— Жир разный бывает, лопух. Говяжий — ты знаешь, он жёсткий, да чистый. Свиной — мягкий, да буйный в вареве. А есть ещё, — он посмотрел на меня с хитростью, которой я от него не ждал, — бараний.

— И?

— И он дёшев, — сказал Гуннар. — Бараний жир — топлёный, старый, у овчара Беспятого стоит три года. Дёшев, потому что им не варят: пахнет, говорят, бараном. И бараном же — в вареве.

— А если его перемыть? — спросил я. И вот тут, между нами, я, дурак, вошёл в зону, где двоечник всегда ошибается: в зону «а если».

— Не знаю, — сказал Гуннар. — А ты попробуй. Только не на нашем жиру. На бараньем.

Я понял это так: Гуннар дал добро. Понял я это, между нами, по-двоечницки — то есть не так, как было сказано. Сказано было: «попробуй, но не на нашем». Услышал я: «попробуй, будет замечательно». Разница, как выяснилось вечером, — цена одного котла и половина репутации Мальфриды.

Овчар Беспятый жил на краю, у овчарни, и был, если честно, самый странный человек деревни: он говорил с овцами больше, чем с людьми, и овцы, между нами, слушались его лучше, чем я слушался кого бы то ни было в обоих мирах. К овчарне мы шли с Гуннаром вдвоём. Он нёс мешок, я — три медяка, завёрнутые в тряпицу. Три медяка, и это, между нами, было всё наше состояние на бараний рынок.

— Смотри, лопух, — говорил Гуннар по дороге. — Беспятый — не дурак. Дурак не держит овцу на лавке. Дурак не знает цену каждому своему стаду по головам. Беспятый — это упрямство, обвязанное верёвкой. С ним нельзя говорить «дёшево». С ним надо говорить «своё».

— А что своё?

— Сало. Сало — его. Всё остальное — чужое. Ты ему за сало плати, а за остальное — молчи.

Овчарня стояла на выгоне, и овцы паслись вокруг — серые, с росой на шерсти. Они увидели нас и повернули головы все сразу, тридцатью парами боковых глаз, и я почувствовал себя вестником, которого стадо ждало с нетерпением, которое оно никогда не признает.

Беспятый сидел на корточках у плетня и держал ягнёнка. Ягнёнок был чёрный — единственный чёрный в стаде, и я потом понял, что Беспятый держал его не потому, что тот болел, а потому, что тот был чёрный. У Беспятого, между нами, всё чёрное было на особом учёте.

— Сало, — сказал Гуннар вместо приветствия. Гуннар не тратил приветствия на торг: приветствие — это когда цена неизвестна.

— Сало, — согласился Беспятый. Ягнёнка он не отпустил. — Какого?

— Бараньего. Круг. Целый. И не один — три.

— Два медяка за круг.

— Медяк за круг.

— Два.

— Медяк, Беспятый. И то потому, что осень.

— Осень, — сказал Беспятый, — осенью сало дороже. Зимой жир застывает, весной тает, а осенью — держит. Держащее — два.

— А гнилой — ноль, — сказал Гуннар. — Покажи круг.

И вот тут случилось то, чего я не ждал. Беспятый не полез в амбар. Он сказал ягнёнку:

— Слышь?

Ягнёнок блеял. И Беспятый, переведя это блеяние как «согласен», поставил его на землю. Ягнёнок ушёл к матери, мать обнюхала его и сделала вид, что не ждала. И только после этого Беспятый встал — медленно, по частям, как поднимаются старики, у которых все части работают, но не одновременно, — и пошёл к амбару.

— Он его спрашивал, — прошептал я. — Ягнёнку.

— Вижу, — сказал Гуннар. — Молчи. Собаку не перебивай.

— Какую собаку?

— Его. Беспятый — это собака при стаде. Он не пастух. Он при стаде. Стадо пасёт себя, а он при нём. За это стадо его и терпит, а он за это стадо и любит. Такое, лопух, не купишь и не продашь. Такое можно только не трогать.

Беспятый вынес круг. Круг был настоящий: сало, срезанное с туши целиком, кольцом, с плёнкой, пожелтевшее по краю. Он положил его на плетень — не на землю, на плетень, на самую середину, как кладут на стол гостю, — и сказал:

— Нюхай.

Гуннар понюхал. Я понюхал. И, между нами, я понял в ту секунду то, что потом дорого нам стоило: сало пахло. Не жиром, не скотиной, не зимой. Оно пахло НОСКОМ. Тёплым, ношеным, серым носком, который долго жил в валенке и выучил наизусть всё, что происходило у ноги. Я отдёрнул нос — и Гуннар наступил мне на ногу. Сильно. Без предупреждения. Это был его способ сказать «не смей лица показывать».

— Пахнет, — сказал Гуннар ровно. — Крепко пахнет.

— А как же, — сказал Беспятый. И в голосе у него, между нами, была гордость. — Бараний. Честный бараний. У меня овцы не мытые. Их мыть нельзя — простынут. Вот они и пахнут. Как жили. Честно жили.

— Медяк за круг.

— Два.

— За пахнущее — медяк.

— Пахнущее — это и есть бараний, — сказал Беспятый. — Говяжье не пахнет. Говяжье — это скотина убитая, она молчит. А баран при жизни орал. Орание, брат, в сале остаётся. Ты за орание платишь.

Я, между нами, до сих пор не знаю, шутил он или верил. С Беспятым это всегда одно и то же.

Гуннар достал медяки — все три, — положил на плетень рядом с кругом и сказал:

— Один. И соль. Мне нужна соль сверх.

— Соли нет.

— Есть. Аграфена привезла на прошлой неделе, и я видел мешок у тебя в амбаре, когда ты выносил круг.

Беспятый замолчал. Он замолчал так, как молчит человек, которого поймали на его же амбаре. Потом сказал — медленно, с достоинством, которое он выстраивал секунды три:

— Соль за медяк отдельный.

— Соль за то, что я не говорю овцам, что ты их продаёшь зимой.

И вот тут Беспятый посмотрел на овец. Овцы паслись и не слушали — но он на них посмотрел, и взгляд у него был такой, каким смотрят на свидетелей, которым заранее не рассказали. И он взял медяк, сунул его в щель плетня — у него, я потом понял, все медяки жили в щелях плетня, и плетень был его банком, с отделениями по брёвнам, — и сказал:

— Круг. Соль. И чтоб овцы не слышали.

— Овцы всё слышат, — сказал Гуннар, укладывая круг в мешок. — Просто они благороднее нас и делают вид, что нет.

Взяли мы три круга — по медяку за каждый, и третий, между нами, Беспятый отдал с таким лицом, как будто мы у него не сало купили, а родню. Соль вынес вслед за кругами — из того самого амбара, где её не было.

Мы пошли назад. И уже на повороте я обернулся: Беспятый сидел на корточках, взял нового ягнёнка — не того же, другого, серого, — и держал его на руках, как держат не ребёнка, а новость, которую ещё не решили, хорошая или плохая.

Запах был. Запах был сильный. Запах был такой, что тётка Ненила, шедшая за нами, отступила на два шага, а Кусака, наоборот, подошла и начала нюхать с большим интересом, как нюхают то, что умерло недавно и по естественным причинам.

— Он пахнет, — сказал я.

— Пахнет, — согласился Гуннар. — Я же сказал.

— А если его проварить с золой два раза?

— Лопух, — сказал Гуннар, — я сказал «попробуй». Не сказал «двумя словами».

Но я уже не слушал. Двоечник, когда у него в голове «а если», — это не человек. Это наводнение. Мы притащили жир в кузницу, и я развёл огонь, и стал варить, и, надо сказать, первые полчаса всё было хорошо: жир растопился, зашипел, побелел. А потом пришёл запах.

Запах нельзя описать. Я попробую: это запах носка. Не грязного носка — это было бы терпимо. Это запах НОСКА, то есть той самой сущности, из которой носок состоит, его чистой сути, его духовного предка. Пахло так, будто кто-то варил носок. В носке. На медленном огне, с любовью.

Я побежал за Мальфридой. Мальфрида пришла, понюхала и сказала:

— Это не мыло. Это баранья душа.

— А если ещё проварить?

— Если ещё проварить, — сказала Мальфрида, — это будет баранья душа второго порядка. Лопух. Куда ты меня втягиваешь? Я тридцать лет варила кашу. У меня и так весь двор в каше. А теперь ты мне варишь носок?

Мы вылили. Это был единственный честный ход — вылить. Я выливал в яму за кузницей, и яма потом неделю пахла бараньей душой, и Кусака обходила её по кругу, как обходят место, где случилось что-то не то.

Но вот что я, дурак, не понял сразу. Гуннар в тот вечер сел на скамью и сказал:

— Ничего, лопух. Бараний жир в этом мире есть у Беспятого, а в других волостях есть у других овчаров, и они его сбывают за грош. И если ты найдёшь, как его мыть до белизны, — у тебя будет дешёвое мыло на весь край. Не торопись. Дорога, лопух, — это то, что идёт под ногами, когда идёшь.

Это была, я потом понял, сентенция. Я её записал крещиками на дощечке — крещиками, потому что не умел писать по-ихнему, а по-нашему писал только «ЛОПУХ» и «Г-Р» — «горн ряд», не спрашивайте.

Хозяева жира

А перед сном Гуннар сказал то, из-за чего я эту главу записываю с плохо спящей головой.

Он сидел у огня. Мальфрида уже ушла. Кусака лежала у порога и во сне дёргала лапой — ей, наверно, снилось, как она нюхала баранью яму. И Гуннар сказал:

— Лопух. Ты теперь знаешь цену жира. И знаешь, что жир не продаётся — задится. И, стало быть, знаешь то, чего не знает купец из города.

— И что?

— А то, — сказал Гуннар, — что у жира есть хозяева. Не те, кто режет свинью. А те, кто собирает задок со всей волости и везёт его в город, на свечные дворы. Там, в городе, из нашего жира делают свечи. Дорогие. Церковные. И хозяева этих свечных дворов, лопух, — люди, которые не любят, когда жир уходит на мыло. Потому что на мыло уходит меньше, чем на свечи, — а свечи покупают Церковь и барон. Понимаешь? Церковь и барон покупают свет. А ты, лопух, продаёшь чистоту.

— И что, меня будут бить? — спросил я. У меня, между нами, первый рефлекс всегда «меня будут бить», — это после школы, это уже не лечится.

— Бить не будут, — сказал Гуннар. — Хуже. Купят. Купят дешевле, чем стоит, и скажут: «работай на нас, лопух, а мы тебе за это позволим жить». И это, лопух, и есть настоящая опасность ярмарки. Не глаза не баронские. А руки, которые потянутся, чтобы купить тебя, пока ты ещё не знаешь, сколько ты стоишь.

И ушёл спать. А я остался у огня и сидел.

И вот что я вам скажу, если вы ещё читаете. Я в моём мире двоечником был не потому, что не умел думать. Я двоечником был потому, что думал только тогда, когда думали за меня. А тут, в кузнице, у огня, с Кусакой у порога, я подумал сам — и мысль была простая и страшная:

У жира есть хозяева. А у меня?

Если у меня хозяев пока нет — то их скоро найдут. И Гуннар не говорит «не ходи на ярмарку». Гуннар говорит «знай, сколько ты стоишь». А сколько я стою, если я стою один кусок мыла, одиннадцать гвоздей, из которых два годные, и одну ложку, отмытую до звона?

Не знаю. Но ложка, между нами, стояла на полке Гуннара, а на полку Гуннара ничего не ставят просто так. И это, я начинаю понимать, не полка. Это опись.

Кусака во сне перевернулась на другой бок. Яма за кузницей тихонько пахла бараньей душой — издалека, как из другой жизни. Завтра надо придумать, как мыть бараний жир до белизны, а послезавтра — ехать на ярмарку.

А у меня, между нами, до сих пор нет ни денег, ни гроша, ни понятия, сколько стоит кусок чистоты.

Но есть — я это почувствовал у огня, и это, наверное, и есть моё главное приданое в этом мире — есть глупая уверенность, что придумается. Оно всегда придумается. У двоечника, который ничего не боится попробовать, всё придумается.

Хоть раз я в этом уже убедился.

Глава четвёртая. Подмастерье

Мне надо было догадаться раньше. Но я, между нами, редко догадываюсь раньше — я обычно догадываюсь после, и то если мне объяснят.

Началось всё с лошади. С лошади, между нами, вообще начинается всё плохое в деревнях. В моём мире это была бы машина — приехала бы какая-нибудь неопределённого цвета, из неё вышел бы кто надо. А тут пришла лошадь. С телегой. На телеге сидел пацан.

Пацан был старше меня года на два, высокий, худой, с таким лицом, будто он один в деревне понимал какую-то великую шутку, которой никто больше не в курсе. Он спешился, привязал лошадь к нашему столбу — к НАШЕМУ столбу, заметьте, спросить не стал, — и зашёл во двор, как заходит к себе.

— Это, — сказал он, — кузница Гуннара?

— Ага, — сказал я.

— А ты кто?

— Лопух, — сказал я. Я тогда ещё не понимал, что «лопух» — это не представление, а приговор.

— Лопух, — повторил он. Посмотрел на меня. Потом на кузницу. Потом на меня. — А смеяться над тобой можно?

— Уже все смеются, — сказал я. — Присоединяйся.

И он засмеялся. Не злобно — вот в чём беда. Он засмеялся так, будто я сказал что-то смешное нарочно, будто мы с ним уже сто лет знались, и это, между нами, было хуже всего. Злую усмешку я бы понял — я по школе усмешки специалист. А эта была добрая, и потому я на неё не был готов.

Его звали Торг.

Я потом узнал, что он соседский — из трактира, что стоит между деревней и большой дорогой. Сын трактирщика. Трактир — это, между нами, не ремесло. Это ярмарка, которая ходит сама: через него вся волость проходит и при нём всё говорит. И семья Торга с поколениями отличалась двумя качествами: слышала больше всех и дружила со всеми. Торг, по местным меркам, был просто душа. По моим меркам, у меня тогда ещё на моём понятии души, он был человек, который приходит к тебе жить без спроса.

— А чё это у вас за дым, — сказал он, — вчерашний?

— Мыло, — сказал я. И сразу, между нами, понял, что сказал, потому что Мальфрида за две главы до этого говорила мне: «Не говори про варево. Сказал — жди гостей». Гости уже пришли. Это был первый гость.

— Мыло, — сказал Торг. — Что за мыло?

— Такое, — сказал я, — что ложку отмывает до звона.

Торг перестал улыбаться. Вот тут, между нами, я впервые увидел его настоящий взгляд, под смехом: быстрый, цепкий, как у щуки под кувшинкой. Потом снова начал улыбаться, как будто и не было.

— Звон, говоришь, — сказал он. — А кусок есть?

— Кусок на полке, — сказал я.

— А полку можно глянуть?

И вот тут я сделал ошибку номер один. Я показал ему полку.

Полку Гуннара. Ту самую, на которой молот деда, монета без чекана и одиннадцать кусков — теперь, между нами, уже четырнадцать, мы доварили с утра. Торг смотрел на куски так, как я смотрел бы в моём мире на чужой телефон: быстро, много, запоминая. А потом сказал:

— Хорошее мыло. Ага.

— Ага, — сказал я.

И на этом, между нами, надо было закруглять. Показал, полюбовался, иди домой. Но Торг не уходил. Торг сел на завалинку. Торг спросил, как я отбил щёлок, и я — слушайте внимательно, это была ошибка номер два — рассказал. Не всё. Но почти всё: зола, вода, жир, счёт шипения. Всё, кроме пропорции. Пропорцию я, между нами, охранял, как охраняю пароль от чего-то, — потому что Гуннар сказал: «Пропорция — это твоя голова, лопух. Голову дают только тому, кому сам решишь».

Про Торга

Торгу было семнадцать, и он был подмастерьем при отце в трактире. Руки у него были — он чинил в трактире всё: телеги приезжих, замки, лавки, и раз в год, на больших ярмарках, выигрывал у всех в борьбе — скрытно, в кругу своих, потому что трактирщицкому сыну не положено быть сильным при всех: сильных боятся, а к трактирщику надо идти пить. Его отец умел смотреть на вещь и видеть, почему она сделана так. А ещё умел слушать. Торг от отца взял руки и слух — но не «почему». Видеть, почему вещь сделана не так, он не умел вовсе.

И вот приходит он в нашу кузницу — и видит мыло. Мыло, которого нет нигде. Мыло, которое сделал лопух, мальчишка, который месяц не мог запомнить, где в кузнице углы.

— А как ты его сделал? — спросил он. В четвёртый раз.

— Зола, вода, жир, — сказал я.

— Я знаю, — сказал Торг. — Я спрашиваю — СКОЛЬКО.

— Пропорция, — сказал я, — моя.

Торг посмотрел на меня так, как будто я сломался.

— Пропорция, — повторил он. — Твоя? Пропорция не бывает ничья. Пропорция либо есть, либо её нет.

— Есть, — сказал я. — Но моя.

— Ты не знаешь её сам! — вдруг сказал Торг. И это, между нами, был первый раз, когда он был честным. — Ты не знаешь! Ты сварил котёл, а пропорции не знаешь — ты её СЛУЧАЙНО взял!

— Случайно, — согласился я. — Но взял.

Торг откинулся на завалинке. Между нами повисла пауза. Кусака, которая до этого лежала у порога и делала вид, что она мебель, подняла голову и посмотрела на нас обоих. Кусака, между нами, всегда знала раньше меня, когда дело плохо.

— Слушай, лопух, — сказал Торг. — Ты мне скажи пропорцию. Я тебе за это... я тебе, короче, скажу, что мне за это предложить, а ты скажешь, да или нет.

— А что предложишь?

Торг подумал. По-настоящему подумал — я видел, как у него шевелились брови.

— Корова, — сказал он. — У нас есть корова. Скажу отцу — отдаст.

— Тебе не нужна корова, — сказал я. — Тебе нужна пропорция.

— Мне нужно уметь, — сказал Торг. И вот это, между нами, была самая честная фраза этой главы. — Мой отец умеет. Я — нет. Я руки умею, а почему — не умею. Ты не умеешь руки, а почему — умеешь. Я не знаю, почему это так, но это так. И мне надо уметь, лопух. Мне очень надо.

Я сидел и слушал его. И, между нами, впервые за всё время в этом мире я понял человека. Понял по-настоящему, по-школьному, до костей. Потому что Торг был я. Торг был я, только из другого мира — из мира, где все умеют, а он не умеет. Я был из мира, где я не умел, а все умели, и я переехал в мир, где я умею, а все не умеют. И вот мы сидим, оба, с одной и той же бедой с двух сторон.

— Торг, — сказал я. — Я тебе не дам пропорцию.

— Ага, — сказал он. И не обиделся. Вообще не обиделся. — А если я сам догадаюсь?

— Догадайся.

— Я не догадаюсь.

— Знаю.

— А чё тогда?

— А тогда, — сказал я, — вари рядом. Смотри. Считай шипение. Твой отец умный — ты спроси у него, сколько золы в щёлок сыпать. Я тебе подсказать не могу, а подглядеть — пожалуйста. Это не секрет. Это счёт.

Торг молчал. Долго. Потом встал, посмотрел на полку в последний раз и сказал:

— Ага. Считать, значит.

И уехал. И я, между нами, до вечера был доволен собой. Я думал: вот я какой умный — отдал не пропорцию, а путь к пропорции. Поделился не деньгами, а дорогой. Я думал — я щедрый.

Я не догадался, что щедрость — это тоже расход.

Как я сам себе всё испортил

Торг пришёл на следующий день. И на третий. И на пятый. И каждый раз приносил что-нибудь: то горшок мёда, то кусок соли, то зачем-то гвозди — свои, кривые, «глянь, лопух, что я забил». Он приходил, сел на завалинку, и я варил, а он смотрел. Я смотрел на котёл. Он смотрел на мои руки.

— Сколько сыпешь? — спрашивал.

— Считай, — говорил я.

Он считал. Он считал вслух, как я в шестом котле. Он старался. И, между нами, у него получалось плохо: он считал мои руки, а не котёл. Он не понимал, что счёт — это не про то, сколько насыпаешь. Это про то, сколько шипит. Ему было легче смотреть на руки — руки понятнее, чем шипение. И он смотрел.

И на девятый день я сделал ошибку номер три.

Ошибка номер три была проста: я ему поверил. Я смотрел на него — на его старание, на его кривые гвозди, на его корову, которую он предлагал, на его «мне очень надо», — и я подумал: «А чё я, дурак, держу? Он же друг». Он был не друг. Он был соседский пацан, который улыбался всем и дружил честно, — но дружба и счёт, между нами, у него жили в разных домах и не ходили друг к другу в гости.

На девятый день мы варили вместе. Торг попросил: «Дай сам насыпать. Я руку набиваю». И я дал. Я вышел за водой — бочка была за кузницей, а бочка, между нами, не там, где надо, — и Торг остался у котла один.

Секунд тридцать.

Этого хватило.

Когда я вернулся, Торг стоял у котла с лицом человека, который только что перевёл страницу книги, а страница была не его. Котёл шипел. Но шипел по-другому — не так, как он должен был шипеть. Я это сразу услышал. Счёт, между нами, реально работает: я уже слышал шипение, как слышат ноты.

— Ты что насыпал? — спросил я.

— Как ты, — сказал Торг.

— Я видел, что ты насыпал. Ты сыпал рукой. А я сыплю горстью. Ты насыпал больше, чем я.

— Взвесил на глаз.

— Ты не умеешь взвешивать на глаз. Я тоже не умею. Это Гуннар умеет, а не я.

Торг молчал. Кусака встала. Она, между нами, молча встала — а Кусака молча встаёт только тогда, когда надо.

И тут в кузницу вошёл Гуннар.

Гуннар вошёл, посмотрел на котёл. Посмотрел на Торга. Посмотрел на меня. И — я этого не ждал — он ничего не сказал. Он молча взял черпак, помешал, понюхал. Потом посмотрел на Торга ещё раз и вышел.

Это было хуже любого крика. Я это понял по Торгу: Торг стоял белый, как наш самый удачный кусок мыла.

— Он, — сказал Торг, — знает?

— Он всё видит, — сказал я. — Он всегда всё видит.

— А чё он молчал?

— Не знаю, — сказал я. — У него молчание — это как двойка в четверти.

— Двойка?

— Не тебе объяснять, — сказал я.

Котёл, между нами, испортился. Мы его вылили — второй раз за месяц, и яма за кузницей опять запахла, теперь уже не бараньей душой, а злой золой, и Мальфрида, когда узнала, сказала только одну фразу, и эта фраза была страшнее половника:

— Лопух. Ты счёт дал чужому. Счёт — это не твой, он домовый. Ты его в дом пускал или наружу?

Я не понял. Мальфрида ушла. А я остался думать — и думал я до вечера, и понял к закату: она имела в виду, что пропорция — это не формула. Пропорция — это руки. Мои руки, мой глаз, моё ухо. Я отдал Торгу не цифры. Я отдал Торгу себя — а он, между нами, этим воспользовался так, как пользуются всем, что валяется во дворе без присмотра: взял и оставил своё.

Разговор, которого я не хотел

Вечером пришёл Гуннар. Он сел на скамью, вытянул ноги — молот на колени не положил, и это, между нами, было странно: молот всегда был при нём, когда разговор длинный. А теперь молота не было. Значит, разговор был не длинный. Значит, короткий.

— Лопух, — сказал он.

— Ага.

— Ты дал ему счёт.

— Я не давал. Он подсмотрел. Я вышел за водой, а он...

— Лопух.

— Ага.

— Кто тебе сказал, что за водой надо выходить, когда у котла чужой?

Я молчал. Потому что никто не сказал. Потому что я и не подумал. Потому что я был голодный и бочка была за кузницей, и я, между нами, больше думал о еде, чем о пропорции.

— Ты, — сказал Гуннар, — месяц назад был тот, кто не знает. Теперь ты тот, кто знает и не бережёт. Это, лопух, хуже. Не знать — простительно. Знать и не беречь — нет.

— Он мне мёд принёс, — сказал я тихо. — И соль. И гвозди. Он не врал. Он честный.

— Честный, — согласился Гуннар. — Честность и счёт, лопух, живут в разных домах. Ты это сегодня узнал бесплатно. Дешевле бывает только то, что не случилось.

И ушёл. А я остался сидеть и думать — и, между нами, думал я не про Торга. Думал я про то, что Гуннар сказал «бесплатно». Дешевле бывает только то, что не случилось. А что случилось — то стоит. И я в этом мире, выходит, всё ещё не понимал, сколько стоит то, что

я делаю. Мыло. Счёт. Дружбу с Торгом. Всё это было не бесплатно, а я ходил по этому миру, как по своему миру, где за всё платят двоечницким «и так сойдёт».

И вот теперь — главное

Торг пришёл ещё раз. На одиннадцатый день.

Он пришёл тихо — не с лошадью, пешком. Сел на завалинку. Не улыбался. И это было, между нами, самое неприятное: Торг без улыбки — это Торг другой, как будто с него сняли одну шкуру и осталась вторая.

— Слушай, лопух, — сказал он.

— Ага.

— А ты откуда?

— Из-за..., — начал я. Легенду про деда мы учили с Мальфридой, я её знал наизусть: «Из дальних мест, дед был мыловар, родня Мальфриды по троюродной, свадьба была тогда-то».

— Не про то спрашиваю, — сказал Торг. — Ты — откуда?

И вот тут, между нами, он посмотрел на меня по-другому. Не как соседский пацан на лопуха. Не как подмастерье на чужую пропорцию. Он посмотрел на меня так, как на меня в моём мире смотрели учителя, когда я говорил что-то, чего они не просили, — так, как смотрят, когда хотят понять, ОТКУДА ты это взял.

— Из-за... — начал я.

— Лопух, — сказал Торг. — Ты считаешь шипение. Ты счёта шипения здесь никто не знает. Его тут никто НИКОГДА не знал. Ты приходишь и говоришь: «считай». Откуда ты счёт взял? Твой дед мыловар — я спрашивал у деда. Он сказал: мыловары в наших краях никогда счёт не вели. Они руками. А ты не руками. Ты руками, как я, — а счёт, как не знаю кто.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.